

©1995 г. Б.А. УСПЕНСКИЙ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА КАК МЕЖСЛАВЯНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

История русского литературного языка – это, в сущности, межславянская дисциплина, которая в равной мере может относиться как к русистике, так и к славистике. В самом деле, основная проблема здесь – взаимоотношения церковнославянского и русского языка на разных исторических этапах или, иначе говоря, взаимоотношения восточнославянской и южнославянской языковой традиции. Таким образом, история русского литературного языка находится на стыке исторического языкознания (исследующего специфические процессы языковой эволюции) и языкознания ареального (исследующего специфические процессы языковой интерференции).

При этом как понятие "церковнославянского", так и понятие "русского" языка оказывается исторически изменчивым, т.е. меняет свое содержание в процессе исторической эволюции.

Говоря о русском языке, мы имеем в виду ту или иную совокупность восточнославянских диалектов (для древнейшего периода – это совокупность всех восточнославянских диалектов, в дальнейшем понятие "русский" связывается преимущественно с великорусскими диалектами). Но что имеется в виду под церковнославянским языком? Ясно, что речь идет о церковнославянском языке особой русской редакции, т.е. русифицированном церковнославянском. Что же представлял собой этот язык, и в какой мере он был русифицирован? Можем ли мы говорить о церковнославянском языке как о русском литературном языке (того или иного периода)? Какое отношение он имеет к современному русскому литературному языку?

Литературный язык всегда существует в противопоставлении живому (разговорному) языку, причем это противопоставление осуществляется за счет определенного набора признаков. Совокупность таких признаков прежде всего и определяет (конституирует) норму литературного языка. Эти признаки являются релевантными для языкового сознания, и вне этих признаков литературный язык не противопоставлен разговорному. История этих признаков (противопоставляющих литературный и живой язык на разных исторических этапах) является одним из основных моментов истории литературного языка (см. [1, с. 1–20], ср. также с. 177–178).

Таким образом, между литературным и живым языком непременно должно иметь место то или иное взаимодействие; характер этого взаимодействия определяется типом литературного языка. Литературный язык может ориентироваться на живой язык, может отталкиваться от него, однако он всегда так или иначе с ним связан; в частности, эволюция живого языка отражается на эволюции языка литературного – в той сфере, где они не противопоставлены.

Вместе с тем, как известно, возможны ситуации, когда в функции литературного языка выступает язык, вообще никак не связанный с разговорным, т.е. совершенно другой язык, которым овладевают как иностранным. Именно так, например, функционирует латынь в германских или славянских католических странах до появления там национальных литературных языков; так же функционирует и церковнославянский язык в романских православных странах. В соответствии с нашими определениями такой язык не может быть признан литературным языком соответ-

ствующего языкового коллектива: мы можем сказать, например, что латынь выступала в функции литературного языка у поляков, но не можем сказать, что латынь была польским литературным языком. В самом деле, латынью овладевают самостоятельно как иностранным языком; порождение латинского текста основывается на четко фиксированных правилах и осуществляется безотносительно к живому языку; соответствие этим грамматическим правилам и определяет правильность латинского текста.

Вопрос о том, как трактовать подобную ситуацию, имеет самое непосредственное отношение к истории русского литературного языка. Несомненно, что с принятием христианства в X в. и по крайней мере до XVIII в. функции литературного языка выполнял на Руси церковнославянский язык. Этот язык был усвоен русскими от южных славян. Можно ли считать церковнославянский язык русским литературным языком допетровского времени? Или же мы должны начинать историю русского литературного языка с XVIII в.? Такая точка зрения имеет своих сторонников (см., например [2, 3], ср. также [4]).

Полагаем, что мы имеем все основания рассматривать церковнославянский язык как русский литературный язык эпохи средневековья. Действительно, этот язык, будучи заимствован извне, никогда тем не менее не изучался как иностранный. С самого начала он вступает в тесные отношения с разговорным языком восточных славян (т.е. с восточнославянскими диалектами) и очень скоро начинает восприниматься как кодифицированная разновидность этого языка. В результате адаптации церковнославянского языка на Руси возникает особый русский извод этого языка. Таким образом осуществляется пересадка церковнославянского языка на русскую почву, и он пускает здесь глубокие корни.

Как же изучался церковнославянский? Мы знаем, как изучалась латынь: по грамматике. Но грамматик церковнославянского языка не было по крайней мере до XV в. Вместе с тем, первые грамматические сочинения очень неполны и изучить церковнославянский язык по ним невозможно: как правило, это либо трактаты о языке вообще, либо переложения латинской или греческой грамматики, либо, наконец, руководства для справщиков (переписчиков церковных книг) с перечнем трудных случаев. Более того, изучение грамматики могло даже вызывать отрицательное отношение (см. [5]). Первая сколько-нибудь полная грамматика церковнославянского языка появляется лишь в XVII в. – это известная грамматика Мелетия Смотрицкого, которая сначала была издана под Вильной в 1618 г., а затем в Москве в 1648 г. Как же изучался язык до этого?

Грамматик – в виде самостоятельной системы правил – не было, однако кодификация осуществлялась в процессе изучения книжного (литературного) языка. При чтении церковнославянских текстов устанавливались соответствия между формами книжного и разговорного языка; понятно, что в разных диалектных условиях такого рода соответствия были неодинаковыми. Ниже мы специально остановимся на процедуре изучения церковнославянского языка в Московской Руси (см. Приложение I).

Эти соответствия определяли прежде всего переход от книжного языка к некнижному (разговорному): обучение церковнославянскому языку было в основном п а с с и в н ы м – основной задачей было не создание новых текстов, а понимание уже имеющихся канонических текстов (см. [1, с. 20, 57, 77–78; 6, с. 36]). Церковнославянский язык воспринимается прежде всего как язык богослужения и религиозного просвещения, поэтому обучение языку выступает как путь к религиозной истине; в этих условиях главное – научить понимать сакральные тексты, а не научить активному владению языком. (Именно поэтому изучение грамматики могло вызывать протесты: предполагалось, что истина содержится в канонических текстах, между тем грамматика дает возможность порождать любые – в том числе и ложные – тексты: так, например, грамматика учит склонять слово *Бог* во множественном числе, и это порождает идею о многобожии; и т.п.).

Вместе с тем, устанавливая соответствия от книжного языка к некнижному, но-

ситель языка получал возможность с известным приближением писать на книжном языке. Поскольку эти соответствия несимметричны и необратимы (irreversible) – и при этом у него нет самостоятельных правил, позволяющих порождать книжные тексты, – он не может писать абсолютно правильно, однако он может приближаться к правильной речи.

Так, например, носитель языка знает, что книжное *градъ* соответствует разговорному *городъ*, книжное *власть* – разговорному *воласть* и т.п. Соответственно, он может исходить из форм разговорного языка, преобразуя их в книжные, например, он может образовать форму *вранъ* (исходя из своей формы *воронъ*), *блато* (исходя из *болото*) и т.п. Но совершенно так же он может преобразовать форму *полонъ* в *планъ* (если он не знаком с правильной церковнославянской формой *плѣнь*)!

Аналогичным образом носитель языка знает, что книжным формам аориста и имперфекта соответствуют в разговорном языке формы прошедшего времени с окончанием *-н*. Соответственно, и в этом случае он может исходить из разговорного языка при порождении церковнославянских форм; поскольку, однако, в разговорных формах прошедшего времени нет различия по лицам, которое есть в церковнославянских формах аориста и имперфекта, он может употреблять церковнославянские формы неправильно, недифференцированно, ср., например, "Старець *сотвориъ* молитву" в Житии Геннадия Костромского XVI в. и т.п.; или "Азь ... *би* челом" в Повести о Карпе Сутулове. В подобных случаях книжные формы выступают как сигнальный показатель книжности, свидетельствуя прежде всего о намерении изъясниться по-церковнославянски, т.е. как индикатор литературного характера текста. В других случаях носитель языка отдаёт себе отчет в необходимости какой-то дифференциации форм простых претеритов, однако не знает как именно нужно дифференцировать эти формы; исходя из фонетического сходства, он может смешивать окончания 3 л. ед. числа имперфекта (*-ше*) и 3 л. мн. числа аориста (*-ша*), окончания 1 л. ед. числа аориста (*-хъ*) и 3 л. мн. числа имперфекта (*-ху*), ср., например, во II Новгородской летописи "Сад весь *изгорѣша* овому тима [= тѣмя] *изгорѣша*, а иному чрѣво *погорѣша* иныя в воде *потопаше*". В этих случаях, исходя из того, что книжный язык отличается от разговорного, носитель языка жертвует дифференциацией по числу, но не достигает дифференциации по лицу (см. [1, с. 148–149; 7, с. 58]). Перед нами, в сущности, типичные явления языковой интерференции (обычные вообще в случае языковых контактов).

Так создаются гибридные тексты – на не вполне правильном, г и б р и д н о м церковнославянском языке (см. [7, с. 54 сл.]). Основная масса оригинальных текстов, созданных на Руси, написана именно на гибридном языке. Такого рода тексты обнаруживают стремление пишущих писать по-церковнославянски, однако это никоим образом не стандартный церковнославянский язык.

Существенно, что на такие тексты не ориентируются при изучении церковнославянского языка – по ним не у ч а т с я. Языковая норма задается, таким образом, не в оригинальных текстах, а в канонических текстах, признаваемых богодухновенными (т.е. в сущности не созданными, а полученными). Эти канонические тексты не создаются, а воспродизводятся – они переписываются профессиональными писцами в специальных скрипториях. Переписывая канонические тексты, писец должен привести их в соответствие с нормой церковнославянского языка, принятой в данное время и в данном месте. Так, начиная с XII в., когда образуется специальная норма церковнославянского языка русской редакции (противопоставленная южнославянским нормам), писцы последовательно заменяют написания с *жд* (в соответствии с общеславянским **dj*) на коррелянтные написания с *ж*, написания типа *стльнь* регулярно заменяются на написания типа *стълнь* и т.п. (см. [1, с. 85, 92; 8, с. 99]). Старшие писцы (нотарии, справщики) более или менее внимательно следили за этим, и в древнерусских рукописях XII–XIII вв. мы нередко обнаруживаем следы их деятельности: проверяя написанный текст, они последовательно исправляют южно-

славянские написания на соответствующие русские в тех случаях, когда русская норма церковнославянского языка отличается от южнославянской.

Таким образом, норма определяется профессиональными писцами-филологами. Она реализуется в образцовых – так сказать, классических – текстах. Эти тексты заучиваются наизусть при овладении церковнославянской грамотой. Так при обучении церковнославянскому языку обязательно наизусть учили Псалтырь и Часослов (т.е. основные молитвы), а иногда также и Апостол. Заучивание наизусть позволяло овладеть риторически украшенной речью, основными синтаксическими конструкциями. Чем больше текстов человек знал наизусть, тем лучше он писал по-церковнославянски (подобно тому, как в Китае уровень грамотности определяется количеством иероглифов, которые знает человек); древнерусский грамотей, таким образом, – это всегда начатчик, образованность которого непосредственно зависит от знания текстов.

Таким образом, общий корпус церковнославянских текстов, написанных на Руси, состоит из к а н о н и ч е с к и х текстов, написанных на более или менее стандартном церковнославянском языке русской редакции, и текстов о р и г и н а л ь н ы х, написанных на гибридном церковнославянском. В первом случае можно говорить о р у с и ф и к а ц и и церковнославянских текстов в процессе их адаптации на русской почве: так писцы, переписывая тексты, приспособляли их к восточнославянским диалектным условиям. Во втором случае имеет место, напротив, с л а в я н и з а ц и я русских текстов – или, точнее, русской языковой деятельности, – когда русские люди (носители восточнославянских диалектов) пишут по-церковнославянски, исходя из естественных речевых навыков.

В первом случае имеет место р е д а к т и р о в а н и е текстов в процессе его воспроизведения. Между тем, во втором случае действуют механизмы п е р е к о - д и р о в а н и я, т.е. преобразования своего текста в чужой (некнижного – в книжный). Очевидно, что это принципиально разные механизмы. Существует качественная разница между ситуацией, когда писец исправляет написания с ж д на соответствующие написания с ж, например, *рождѣство* на *рожьство* (в случае рефлекса *dj), и ситуацией, когда человек порождает церковнославянскую форму *свѣща*, исходя из естественной для него формы *свѣча* (в случае рефлекса *tj); в первом случае имеет место процесс редактирования, во втором – процесс перекодирования. В последнем случае появляются характерные гиперкорректные формы, т.е. гиперславянизмы (такие, как *планъ* вместо *плѣнь*, *мощитися* вместо *мочитися* и т.п.), указывающие на намерение писать по-церковнославянски при недостаточном владении книжным языком.

Именно механизмы перекодирования и определяют признаки, релевантные для противопоставления церковнославянского и русского языка; набор этих признаков не является стабильным. Вне этих признаков церковнославянский и русский оказываются не противопоставленными в языковом сознании, т.е. образуется нейтральная зона, где допускается свободное чередование церковнославянских и русских по своему происхождению форм (см.: [7, с. 55]). В рамках этой нейтральной зоны и осуществляется естественное взаимодействие соотносимых (коррелянтных) церковнославянских и русских элементов: чередуясь, они распределяют свои функции.

В этих условиях противопоставление церковнославянского и русского языка приобретает функциональный характер; генетические различия отходят на второй план, поскольку в языковом сознании они не обязательно ассоциируются с противопоставлением книжного и некнижного языка.

Так вычленяются м а р к и р о в а н н ы е к н и ж н ы е э л е м е н т ы (которые в принципе свидетельствуют о намерении писать на книжном, т.е. церковнославянском языке) и м а р к и р о в а н н ы е н е к н и ж н ы е э л е м е н т ы (от которых в принципе отказываются при порождении книжного текста).

В XVIII в. создается новый литературный язык, который призван заменить церковнославянский в качестве языка новой, европеизированной культуры, и провозглашается отказ от церковнославянского наследия (см. [9; 6, с. 115 сл.]). Однако отказ от

церковнославянского наследия – это в основном отказ именно от маркированных церковнославянизмов, т.е. от специфически книжных средств выражения (см. [7, с. 59, ср. с. 87; 10, с. 26]): немаркированные церковнославянские элементы остаются, и в результате новый русский литературный язык обнаруживает самую непосредственную связь с церковнославянской языковой традицией.

Вместе с тем, в отличие от церковнославянского языка, на котором только писали, но не говорили (см. [1; 6]), новый русский литературный язык призван стать языком разговорного общения. Подобно европейским литературным языкам, новый русский литературный язык является не только книжным, но и разговорным. Соответственно сюда проникают и элементы разговорного языка.

В результате современный русский литературный язык характеризуется органическим сплавом церковнославянских и русских по своему происхождению элементов. Эти элементы сосуществуют в языке, образуя коррелянтные пары, что создает особые стилистические и семантические возможности, отсутствующие в других языках. При этом слова церковнославянского происхождения, как правило, характеризуются более широким или более абстрактным значением по сравнению с коррелянтными русизмами (см. [11, № 3, с. 121 сл.; 12, с. 92 сл.; 13; ср. к дальнейшему: 6, с. 184 сл.]).

Иллюстрацией могут служить коррелянтные неполногласные и полногласные пары – такие, как *страж – сторож, хлад – холод, глава – голова, власть – волость, хранить – хоронить, бремя – беременный* и т.п.; в каждой из этих пар слово, представленное в неполногласной форме, обладает абстрактным значением, тогда как соответствующее слово, представленное в полногласной форме, имеет конкретное значение. Совершенно такие же семантические отношения характеризуют и коррелянтные слова церковнославянского и русского происхождения, противопоставленные по другим признакам (не по признаку полногласия), ср., например: *свеща – свеча, небо – нѣбо, падеж – падѣж* и т.п.

В некоторых случаях церковнославянский вариант оказывается единственно возможным в языке. Так происходит именно тогда, когда соответствующее слово прочно связывается с абстрактным или обобщенным значением: в этих случаях русская форма исчезает из языка, уступая место церковнославянской. Так, например, неполногласная форма *время* совершенно вытеснила исконно русскую форму *веремя*, которая зарегистрирована в древнерусских текстах (ср., вместе с тем, украинское *верем'я* "погода": это слово имеет здесь вполне конкретное значение, и это может объяснять сохранение полногласной формы); точно так же славянизм *член* вытеснил русскую форму *челон*, представленную в древнейшей письменности (слово *член* в значении "membrum virile" имеет конкретное значение, но это объясняется тем, что это слово в данном значении является термином – см. ниже). Совершенно так же славянизм *вещь* полностью вытеснил исконную русскую форму **вечь*, славянизм *пища* вытеснил исконную русскую форму **нича*: эти русские формы вообще не зафиксированы в текстах, но могут быть реконструируемы.

Вполне закономерно в этой связи, что научные термины образуются в русском языке (в XVIII–XIX вв.) главным образом с помощью церковнославянских языковых средств (наряду с использованием иноязычных заимствований): ведь научная терминология, по определению, имеет абстрактное (обобщающее классифицирующее) значение (см. [11, № 3, с. 123–124; 14, с. 264–266]). Примером могут служить такие термины, как *млекопитающее, пресмыкающееся, плотоядный, древесный, древоидный, влияние, извлечь корень* и т.п.: все они образованы из церковнославянских корней, и это закономерно. Попробуем образовать соответствующие слова из русских корней; результат окажется очень показательным – это может вызвать комический эффект! Если мы скажем, например, вместо *млекопитающее* – *молококоормящее* (или *молококоормячее*), вместо *влияние* – *вливание* и т.д. (последовательно заменяя церковнославянские компоненты на соотнесенные русские), это немедленно вызовет непо-

средственную ассоциацию с вполне конкретными понятиями, которые в научном языке неуместны. Так, например, *вливание* понимается как вливание какой-то жидкости и т.д., поэтому если мы скажем о "научном *вливании*" (вместо *вливания*) это будет предполагать ассоциацию науки с жидким телом, что скорее всего покажется смешным. (Это не означает, что слово, обладающее конкретным значением, не может употребляться в каком-то условном – в частности, абстрактном – значении; существенно, однако, что слова церковнославянского происхождения в принципе имеют обобщенное, абстрактное значение и оказываются поэтому особенно удобными для научной терминологии.)

Если бы Льюис Кэррол был русским автором – т.е. если бы он создал на русском языке нечто вроде "Алисы в стране чудес" и "Алисы в зазеркалье" – он, несомненно, использовал бы соотношения славянизмов и коррелирующих русизмов: действительно замена церковнославянских элементов на русские или наоборот меняет смысл и может приводить к характерным недоразумениям: это создает особые возможности для языковой игры. Ниже мы продемонстрируем возможности такого рода игры на примере одного пушкинского стихотворения (см. Приложение II).

Мы говорили о лексике, но те же процессы наблюдаются и в грамматике. Так, парадигма слова *короткий* при изменении по степеням сравнения выглядит таким образом: *короткий* – *короче* – *кратчайший*: как видим, при образовании суперлатива полногласная форма (*короткий*) автоматически преобразуется в неполногласную (*кратчайший*). Это объясняется тем, что суперлатив в принципе имеет общее и абстрактное значение (в отличие от компаратива, где предполагается сопоставление конкретных объектов). Церковнославянская и русская формы предстают при этом как формы одного слова.

Соотнесенность славянизма с абстрактной семантической сферой отражается и на сочетаемости русских слов. Так, например, по-русски говорят *прервать разговор*, но *перервать нитку*: неполногласная форма (*прервать*) закономерно появляется в сочетании со словом, обозначающим нематериальное понятие (*разговор*), и, напротив, полногласная форма (*перервать*) появляется в сочетании со словом, обозначающим материальное понятие (*нитка*). Это происходит а в т о м а т и ч е с к и; речь идет, таким образом, об особом языковом коде русского литературного языка, которым бессознательно владеет каждый носитель этого языка. И в этом случае церковнославянская и русская формы предстают, в сущности, как формы одного слова – они объединяются в рамках одной парадигмы.

Разумеется, мы можем сказать *прервать* (не *перервать*!) *нить*, но это сразу же переводит речь в абстрактную или метафорическую сферу (например, можно сказать *прервать нить повествования*, *нить судьбы* и т.п.). Таким образом, церковнославянские формы оказываются формальными маркерами контекста. Иначе говоря, церковнославянские средства выражения могут определять не только семантику отдельного слова, но и целого текста.

Поскольку абстрактное, а также возвышенное содержание предполагает введение славянизмов (церковнославянские средства выражения), целые фразы в русском тексте могут иметь церковнославянский облик; иными словами, в рамках современного русского языка могут создаваться церковнославянские фразы. Хорошим примером может служить такая фраза, как *Да здравствует советская власть!* Эта фраза бесспорно принадлежит русскому литературному языку и очевидно, что она появилась относительно недавно. Вместе с тем, эта фраза с формальной точки зрения может рассматриваться и как церковнославянская: действительно, как лексика, так и грамматика этой фразы отвечают норме церковнославянского языка. Строго говоря, здесь нет ни одного собственно русского слова (в смысле генетической принадлежности): так *здоровать* и *власть* – это типичные славянизмы (с неполногласием), то же может быть сказано и о слове *советский* (с проявлением слабого редуцированного); равным образом и синтаксическая конструкция (*да + индикатив*) является церковнославянской

по своему происхождению. Итак, перед нами, в сущности, церковнославянская фраза. Вместе с тем, мы не можем выразить то же содержание, не прибегая к славянизмам, т.е. используя русские по своему происхождению формы. Мы вправе рассматривать эту фразу как церковнославянскую, но мы не можем перевести ее на русский язык. Мы могли бы перевести эту фразу на древнерусский язык (поскольку в древнерусском языке, в отличие от современного, не было еще органического синтеза церковнославянских и русских элементов), и она выглядела бы приблизительно так: *А свѣтскѣй волости здоровѣ быти!*

Итак, русский литературный язык обладает особыми стилистическими возможностями для выражения абстрактного, обобщенного, а также возвышенного, поэтического содержания.

Разумеется, в какой-то мере подобное явление может наблюдаться и в других языках. Так, например, во французском языке отвлеченное значение нередко выражается латинизмом, подобно тому как в русском языке оно выражается славянизмом. Это сходство особенно заметно в случае, так называемых "диспаратных пар", т.е. семантически соотнесенных, но формально разноосновных, гетероморфных пар (см. [14, с. 269; ср. также: 15, с. 348]). Ср.:

<i>спросить</i> – <i>вопрос</i>	<i>demander</i> – <i>question</i>
<i>(но)ранить</i> – <i>уязвимый</i>	<i>blesser</i> – <i>vulnérable</i>
<i>похож</i> – <i>сходство</i>	<i>ressemblant</i> – <i>similarité</i>
<i>вспомнить</i> – <i>вспоминание</i>	<i>se rappeler</i> – <i>mémoire</i>
<i>помогать</i> – <i>вспомогательный</i>	<i>aider</i> – <i>auxiliaire</i>
<i>голова</i> – <i>обезглавить</i>	<i>tête</i> – <i>décapiter</i>

Во всех этих случаях, как видим, семантически соотнесенное слово, обладающее производным значением, оформляется в русском языке как славянизм, а во французском – как латинизм, причем здесь не исключено прямое влияние французского на русский (см. [14; 16]). Существенная разница, однако, состоит в том, что в русском языке отношения между славянизмами и русизмами, как правило, выражается в виде формальных языковых соответствий, что и делает славянизацию столь продуктивным средством.

Сопряжение церковнославянской и русской языковой стихии позволяет лингвистам говорить о "двумерности" русского литературного языка. Так, Б.Г. Унбегаун определяет русский литературный язык как "двумерный" (a two-dimensional language) и противопоставляет его "одномерным" языкам (one-dimensional languages), ориентированным исключительно на разговорную речь, – таким, например, как современные украинский или белорусский (см. [17]).

Следует подчеркнуть, что наличие таких возможностей отличает русский литературный язык не только от других европейских литературных языков, но также и от церковнославянского. В самом деле, в церковнославянском языке такие формы, как *страж*, *свещица* и т.п. не имеют специальных коннотаций (это единственно возможные здесь формы, которые могут обладать как абстрактным, так и конкретным значением), однако они естественно появляются в русском языковом сознании, т.е. в перспективе носителя русского языка.

Очевидно, что появление такого рода коннотаций относится к тому времени, когда в результате распада церковнославянской диглоссии вместо церковнославянского языка появится новый литературный язык – язык, противопоставленный церковнославянскому и объединяющий в себе церковнославянские и собственно русские элементы; этот язык появляется в XVIII в. и оформление его в основном заканчивается с Пушкиным (см.: [6, с. 167–183]). Тем не менее, процесс дифференциации абстрактных и конкретных значений при помощи противопоставления коррелянтных церковнославянских и русских форм продолжается и позднее (так, например, дифференциация слов *небо* и *нѣбо* устанавливается, видимо, не ранее второй половины XIX в.).

Таким образом, выразительные средства современного русского литературного языка отражают сложные процессы его формирования в XVIII–XIX вв. Вместе с тем мы можем констатировать, что церковнославянские языковые структуры продолжают жить в русском литературном языке.

Итак, современный русский литературный язык в большой степени связан по своему происхождению с церковнославянским. Каково же его отношение к русскому разговорному языку? В отличие от церковнославянского языка, который был языком по преимуществу письменным (см. [1; 6]), русский литературный язык полифункционален, т.е. может выступать и как средство повседневного общения. В какой мере сохраняется в этих условиях дистанция между литературным языком и разговорной речью?

В последние годы внимание лингвистов – исследователей русского языка – все чаще привлекает явление, которое называется несколько неуклюжим термином "некодифицированные сферы речевого общения". Исследования русской разговорной речи показали, что здесь наблюдается множество конструкций, не учитываемых обычными грамматическими описаниями русского языка и воспринимаемых – когда на них обращается специальное внимание носителя языка – как безусловно неправильные. Иначе говоря, в реальной речи носителей русского языка можно найти много примеров, явно противоречащих грамматической норме. Это явление имеет наддиалектный характер; оно никак не зависит от степени грамотности или интеллигентности говорящих – такого рода примеры в принципе обнаруживаются у всех слоев населения, включая сюда и носителей русского литературного языка.

Это последнее обстоятельство для нас особенно важно: носители русского литературного языка, т.е. безусловно грамотные люди, очень часто и при том достаточно последовательно отклоняются от грамматической нормы. Это явление характеризует исключительно устную, разговорную речь: когда они пишут, то не делают подобных ошибок. Эти отклонения от грамматической нормы, как правило, не замечаются – постольку, поскольку говорящему свойственно вообще воспринимать свою речь именно через призму эксплицитно освоенной нормы (см. [1, с. 3 сл.]).

Вот несколько примеров (см. [18, с. 47–48, 51–53; 19, с. 245, 265]):

- (1) Боря, я к тебе в следующий раз с хной *со* своей приду.
Ты можешь разбавить, вон там *в* бутылке есть *в* большой.
За чем эта очередь? – *За* кофточками *за* шерстяными.
- (2) *Она* почему *навага*?
Она где тарелка?
Закройте дверь. – А кто *ее* держит дверь?
Он где лежит сахар?
Она еще не подсохла синяя кофта.
- (3) Вы не *видели* белая собака?
Вы мне *дадите* вот именно *веточка* и все.
Отгрохали домина какой.
Подай вон сумка Анны Васильевны.
- (4) А *чай* у меня где *пачки*?
Ребята, имеется *пшеничная каша остаток*.
У вас *крабы* не сохранились *коробка*. – Там есть *крабы баночка одна*.
У нас *газ* уже *последний баллончик*. – Что? – *Газ последний баллончик*.
Клав, *зеленая полоска* есть у нас *поплин*?
- (5) Папе надо *кресло сидеть*.
Дайте мне *бумагу писать*.
У нее нет *стола заниматься*.
Где у вас *полотенце руки вытирать*?
Зеркало в ванную повесить никак не соберусь купить.

(6) *Мама и я, мы с ней ели рыбу.*

А вот у маминого брата у твоего, у него жена работала?

Вот эта вот, которую пересадила, *вишенка*, она плохо идет.

А как *братик* у тебя есть зовут *его*?

А *ребяти* эти, которые играют в командах, сколько им лет?

Она с пяти лет у них во дворе *француженка жена повара*, она у нее училась.

(7) Это вторая приемщица *которая вы* первый раз *мерили* костюм.

Можно полагать, что мы имеем здесь дело не со случайными фактами речи (*parole*), объясняемыми ее сбивчивостью и эллиптичностью, но с системными фактами языка (*langue*). На системность обнаруживающихся здесь моделей указывает как их регулярность, так и соображения типологического характера. В самом деле, явления, выходящие за рамки литературной нормы, которые мы наблюдаем в русской разговорной речи, могут соответствовать кодифицированным формальным особенностям других языков.

Так, в первой группе примеров обнаруживается повторение предлогов при согласуемых членах предложения. Это означает, что предлоги ведут себя не как самостоятельные служебные элементы, а как аффиксы (см. [20, с. 98–109]), подобно, например, арабскому артиклю, который повторяется при согласуемых словах (определении и определяемом). Как известно, повторение предлогов при согласуемых словах регулярно наблюдается в древнерусских текстах, а также в языке фольклора и в диалектной речи (см. [21, с. 139–140; 22; 23]). Отражение этого явления в современной разговорной речи явно неслучайно.

Аналогичным образом в примерах второй группы сочетание в одной фразе существительного и относящегося к нему личного местоимения служит выражением категории определенности, т.е. данная конструкция выполняет функции артикля других языков.

В примерах третьей группы прямое дополнение выражается существительным в именительном падеже, как это имеет место в тех языках, в которых нет винительного падежа. Такие конструкции ("косить трава", "взять гривна", "взять куна" и т.п.) широко представлены как в древнерусских текстах, так и в диалектной речи (ср. реликт подобной конструкции в современном литературном языке: "шутка сказать").

Между тем, в примерах четвертой группы существительное в именительном падеже выступает в функции определения подобно тому, как это имеет место, например, в германских языках.

Употребление инфинитива, непосредственно зависящего от существительного и выступающего в функции определения этого существительного, которое мы видим в пятой группе примеров, соответствует употреблению инфинитива в ряде германских и романских языков.

Точно так же в предложениях шестой группы мы обнаруживаем синтаксические конструкции, вполне обычные во французском, а также в немецком языке; действительно, некоторые из этих предложений выглядят как дословный перевод с французского или немецкого (ср., например: *Marie et moi, j'ai mangé du poisson avec elle; Maria und ich, wir haben Fisch gegessen* и т.п.).

Наконец, относительное предложение седьмого примера построено по семитскому типу (см. в этой связи [24, с. 77–78]). Если в обычном для нас случае местоимение, соединяющее главное и придаточное предложения, входит в состав придаточного (и управляется сказуемым главного предложения), то в семитских языках оно входит в состав главного предложения (и согласуется с подлежащим главного предложения).

Сопоставляя некодифицированные явления русской разговорной речи с кодифицированными характеристиками других языков, мы должны отметить и существенное различие. То, что в других языках носит обязательный характер (выступает как обязательный способ выражения или как обязательная языковая категория), в разговорной речи оказывается факультативным, поскольку всегда может быть заменено коди-

фицированными (литературными) формами и конструкциями. Факультативность выступает в данном случае именно как следствие некодифицированности.

Так или иначе, перед нами о с о б а я г р а м м а т и к а, причем это грамматика именно русского нелитературного языка, отличающаяся от литературной нормы. Можно полагать, что мы имеем дело в данном случае с собственно русской, некнижной традицией, свободной от церковнославянского влияния; не случайно аналогичные конструкции мы наблюдаем в диалектной речи, а также в древнерусских текстах. Более того: сама дистанция между современным русским литературным и разговорным языком в какой-то мере соответствует, по-видимому, тем отношениям, которые имели место в свое время между церковнославянским и русским.

Специфические явления разговорной речи, которые не нашли отражения в литературном языке, позволяют оценить, таким образом, степень влияния церковнославянского языка на современный русский литературный язык. Мы можем констатировать, следовательно, что взаимоотношения церковнославянского и русского языков определяют не только начальный этап истории русского литературного языка, но весь период его эволюции.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Мы можем наглядно представить себе, как изучали церковнославянский язык в древности (в частности, в Московской Руси), обратившись к современной старообрядческой практике. Как известно, старообрядцы в малейших деталях сохраняют культуру Московской Руси (см. [25; 26]); это относится и к процедуре изучения церковнославянского языка. Овладение книжным (церковнославянским) языком осуществляется в процессе знакомства с церковными текстами: учащийся осваивает эти тексты с помощью ресурсов своего родного языка. Чтение церковнославянского текста сопровождается объяснительным комментарием (на русском языке), благодаря которому слушающие вводятся в ситуацию и понимают содержание текста; это дает им возможность затем самостоятельно устанавливать соответствия между книжными и некнижными формами. Вот, например, как это происходит у старообрядцев-беспоповцев поморского согласия (подчеркиваем комментарий, которым сопровождается Житие св. Иоанна Кущника):

"И глаголаша ему блаженный Иоани: Послушай отче мой помилуй мя. – Иоанн-то говорит: Ты, говорит, послушай, я тебе чего расскажу. – Родители вельми мя возлюбиста паче братия моя. – Меня шибко ведь родители любят-уважают. – Многим бо грамотам премудрым учаще мя хотяще велии сан возвести мя. – Хотют научить меня все-таки ко грамоте, чтобы я грамотный был, чтобы выучился как следовает. – Якоже глаголет господин мой отца болий сан хощет мя поставити и своего стратилатства посем и брак сотворити хотя. – Хотют вырастить меня, научить, а потом женить хотют, брак сотворить, вот видишь, а ведь равно не оженишься, уйдет от них и все, не узнают они, где и взять" (см. [27, с. 151–152; ср. также: 28, с. 165–177]).

Следует подчеркнуть, что речь идет не о переводе церковнославянского текста (который в принципе признавался невозможным в Московской Руси, поскольку книжный и некнижный языки объединялись в языковом сознании, выступая как взаимодополняющие регистры единой коммуникативной системы (см. [1; 6]), но именно о свободном пересказе или комментарии, задающем контекст и в целом обеспечивающем понимание читаемого текста. Вместе с тем, как можно видеть, этот пересказ фактически сопровождается переводом трудных слов и форм: исходя из такого пересказа, слушатель без труда может привести эти формы в соответствие с формами разговорного языка, хотя эксплицитно это и не формулируется.

Мы можем с уверенностью сказать, что такая же процедура обучения церковнославянскому языку была принята и в Московской Руси. Действительно, совершенно аналогичные примеры комментирующего пересказа мы встречаем у протопопа Аввакума, см., например, рассказ о грехопадении:

"Адам же и Ева сшиста себе листвие смоковичное от древа, от него же вкусиста, прикрыста срамоту свою; и скрыстася под древо возлегоста. *Проспались бедные с похмелья, ано и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнях, со здоровных чаи голова кругом идет*" (см.: [29]).

Итак, подобная практика принята была в Московской Руси. Едва ли можно сомневаться в том, что она принята была и раньше – именно так, по всей видимости, изучали церковнославянский язык в Киевской Руси и, можно полагать, в других славянских странах.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Для того, чтобы продемонстрировать специфические возможности языковой игры в русском литературном языке, обусловленные противопоставлением церковнославянских и русских по своему происхождению элементов, мы рассмотрим четверостишие Пушкина:

В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю – сижу орлом
И болен праздностью поносной.
(см.: [30, т. XIII, с. 239]).

В этом стихотворении сталкиваются два стиля, высокий и низкий, соотнесенные с церковнославянским и русским языком; они предполагают разные кодовые механизмы, и в зависимости от того, какой стиль имеется в виду, получается существенно разный смысл.

Выражения *измучась жизнью* и *изнемогая животом* могут рассматриваться как синонимичные, если слово *живот* трактовать как славянизм, т.е. слово высокого стиля (как известно, в церковнославянском языке *живот* означает "жизнь"); во всяком случае они соотносятся друг с другом. В самом деле, русская фраза *измучиться жизнью* представляет собой как бы перевод церковнославянской фразы *изнемогать животом*; вместе с тем, эта последняя фраза имеет в русском языке существенно иной, подчеркнуто конкретный и приниженный смысл: *изнемогать животом* говорят о человеке, у которого нарушены пищеварительные процессы, т.е. болит живот.

Равным образом, идиоматические выражения *парить орлом* и *сидеть орлом* явно соотносятся, но они получают существенно различное прочтение в разных стилистических кодах: *парить орлом* в высоком стиле предстает как метафорический образ поэтического творчества (отсюда такие слова, как *высокопарный* и т.п.), между тем *сидеть орлом* в разговорном языке означает "отправлять естественную нужду".

Наконец, выражение *праздность поносная* получает существенно различный смысл в русском и в церковнославянском языках и, соответственно, в высоком и низком стилях. Слово *поносный* в русском языке соотносится с поносом, а в церковнославянском означает "позорный"; такое же различие имеет место и между высоким и низким стилями. В зависимости от значения слова *поносный*, слово *праздность* может относиться либо к безделию, отсутствию активности (ср. *праздник*), либо к опорожняемому желудку (ср. *испражняться*).

Итак, это стихотворение написано как бы одновременно на двух языках: если мы читаем его в высоком (славянизированном) стилистическом коде, перед нами предстает поэт, ведущий рассеянный образ жизни; в другой перспективе перед нами предстает человек, страдающий от несварения желудка.

Мы видим, что здесь сталкиваются два разных языковых ключа – церковнославянский и русский – при этом последовательно обыгрывается противопоставленность абстрактного значения, соотнесенного с церковнославянским языковым пластом, и конкретного значения, соотнесенного с русским языковым полюсом. Одновременно обыгрывается многозначность слов, обусловленная их соотнесением с цер-

ковнославянским или русским языковым кодом, т.е. разное значение слова в церковнославянском и в русском языке и, соответственно, в высоком и низком стиле. Все это вызывает намеренно предусмотренный комический эффект: как видим, столкновение церковнославянского и русского лексического пласта в русском литературном языке создает исключительные возможности для языковой игры. Так обыгрываются специфические возможности русского литературного языка, обусловленные сосуществованием в нем церковнославянских и русских по своему происхождению элементов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Успенский Б А История русского литературного языка (XI–XVII вв) Munchen, 1987.
- 2 Исаченко А В Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов // ВЯ 1958. № 3
- 3 Исаченко А В К вопросу о периодизации истории русского языка // Вопросы теории и истории языка Сборник в честь профессора Б А Ларина. Л., 1963
- 4 Worth S Was there a "literary language" in Kievan Rus? // S Worth On the structure and history of Russian Selected essays. Munchen, 1977 (= Slavistische Beitrage Bd 110)
- 5 Успенский Б А Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв) // Литература и искусство в системе культуры / Отв. ред. Б Б Пиотровский. М., 1988.
- 6 Успенский Б А Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.) М., 1994
- 7 Живов В М Роль русского церковнославянского в истории славянских литературных языков // Актуальные проблемы славянского языкознания. / Под ред. К В. Горшковой, Г.А. Хабургаева М , 1988
- 8 Успенский Б А Русское книжное произношение XI–XII вв и его связь с южнославянской традицией (Чтение еров) // Актуальные проблемы славянского языкознания / Под ред. К В. Горшковой, Г А Хабургаева М., 1988.
- 9 Успенский Б А Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
- 10 Живов В М Смена норм в истории русского литературного языка XVIII века // Rling. 1988. № 1.
- 11 Трубецкой Н С Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, № 3.
- 12 Shevelov G Y Die kirchenslavischen Elemente in der russischen Literatursprache und die Rolle A Šachmatovs bei ihrer Erforschung // A Šachmatov, G.Y. Shevelov. Die kirchenslavischen Elemente in der modernen russischen Literatursprache Wiesbaden, 1960
- 13 Успенский Б А К вопросу о семантических взаимоотношениях системно противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории русского языка // Wiener Slavistisches Jahrbuch Bd. XXII 1976.
- 14 Issatschenko A Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache // Zeitschrift fur slavische Philologie Bd XXXVII. 1973–1974. № 2.
- 15 Исаченко А В К вопросу о структурной типологии славянских литературных языков // Slavia. Roč XXVII 1958
- 16 Лотман Ю , Успенский Б Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры ("Присшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка" – неизвестное сочинение Семена Боброва) // Груды по русской и славянской филологии. XXIV: Литературоведение Тарту, 1975 (= Уч зап. Тартуского ун-та. Вып. 358).
- 17 Unbegaun B O The Russian literary language. a comparative view // The modern language review. V LXVIII, 1973 № 4
- 18 Лаптев О А О некодифицированных сферах современного русского литературного языка // ВЯ 1966 № 2
- 19 Русская разговорная речь / Отв. ред. Е А. Земская М., 1973.
- 20 Успенский Б А Структурная типология языков. М., 1965.
- 21 Шахматов А А Исследование о двинских грамотах XV в. Ч. I–II. СПб , 1903 (= Исследования по русскому языку. Т II Вып. 3).
- 22 Гринкова Н П Некоторые случаи повторения предлогов в кировских диалектах // Язык и мышление. XI М -Л, 1948
- 23 Собинникова В И Повторение предлога в говорах Гремяченского района Воронежской области // Труды Воронежского ун-та. Т. XXIX 1954
- 24 Зализняк А А , Падучева Е В К типологии относительного предложения // Семиотика и информатика Вып. 6. М., 1975.

25. *Успенский Б.А.* Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России). М., 1968.
26. *Успенский Б.А.* Раскол и культурный конфликт XVII века // Сборник статей к 70-летию проф. Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992.
27. *Никитина С.Е.* О взаимоотношении устных и письменных форм в народной культуре (на материале полевых исследований старообрядцев) // Славянский и балканский фольклор: Реконструкция древней славянской духовной культуры. М., 1989.
28. *Никитина С.Е.* Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
29. Памятники истории старообрядчества. Кн. I. Вып. I [Сочинения протопопа Аввакума]. Л., 1927 (= Русская историческая библиотека. Т. XXXIX).
30. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений. Т. I–XVI. Sine loci. Изд-во АН СССР, 1937–1949.